

Тезер  
Озлю

Путешествие  
на край жизни

роман



Ad  
Mar  
gine  
m

# Тезер Озлю

## Путешествие на край жизни

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=73429533](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73429533)

Тезер Озлю «Путешествие на край жизни»: ООО «Ад Маргинем Пресс»;

Москва; 2026

ISBN 978-5-908038-44-7

### Аннотация

Роман «Путешествие на край жизни» Тезер Озлю (1942–1986) – одно из самых значимых произведений как в творчестве писательницы, так и в истории современной турецкой литературы. Главная героиня, alter ego Озлю, странствует по Европе, следуя по стопам любимых авторов – Итало Звево, Чезаре Павезе, Франца Кафки, Сильвии Плат. Но эта поездка скорее выступает фоном для другого путешествия – вглубь собственных желаний, мечтаний и надежд. Во внутреннем путешествии, балансируя между экзистенциальной тоской и стремлением к свободе, героиня освобождается от оков общественных ожиданий, страха преследования, воспоминаний о «холодных ночах детства» и палатах психиатрических больниц. Нелинейный, поэтический, фрагментарный, глубоко личный, но при этом затрагивающий вечные темы любви, смерти и свободы, роман стал культовым у турецкой молодежи, был переведен на несколько языков и удостоен престижной премии Марбурга. До сих пор он

увлекает и трогает читателей разных культур, возрастов и стран, приглашая присоединиться к этому путешествию на край жизни.

# Содержание

I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# **Тезер Озлю Путешествие на край жизни**

© Tezer Özlü 1984

© Kalem Agency 2025

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

**\* \* \***

# I

Весной, в лучшее время года, воспринимаемое мной как некое пребывание вне времен и сроков, читая «Спокойствие боли»<sup>1</sup>, я вдруг испытала такое потрясение, что мурашки побежали у меня по коже. Я осознала, что Павезе<sup>2</sup> родился в один день со мной, 9 сентября. Я – после полуночи. Но, когда в Анатолии полночь уже миновала, в Санто-Стефано-Бельбо она, возможно, еще не наступила. Один день. Но не один год. Я родилась за семь лет до его самоубийства. Почему я здесь всегда читаю Павезе? Способность отменять время делает его моим вечным спутником. Разве не читала я его и в Стамбуле? Я соединяю биение своего сердца, все образы, уловленные взглядом, только с теми картинами, которые он нарисовал, с предложениями, которые он сформировал, со словами, которые он нашел. Что это? Почему я так отождествляю себя с ним?

«У каждой улицы свой собственный облик. Каждая

---

<sup>1</sup> У Павезе нет романа под названием «Спокойствие боли» – по всей вероятности, имеется в виду роман «Луна и костры». Здесь и далее по тексту Тезер Озлю упоминает крупные литературные произведения под понятными ей названиями, которые могут быть связаны с именем главного героя или ключевыми событиями сюжета. – *Здесь и далее, если не указано иное, примеч. переводчика.*

<sup>2</sup> Чезаре Павезе (1908–1950) – итальянский писатель и переводчик, поэт, автор дневника, сценарист, литературный критик, биограф, лингвист, редактор, журналист.

вершина – это отдельная личность...»<sup>3</sup> – *говорит он.*

Разве ты не осознала это обычным майским днем, когда взяла и случайно приехала в Ниццу, а потом спускалась по широким бульварам к Средиземному морю? Когда разглядывала окна каждого дома, каждого особняка – открытые, закрытые, – пытаясь представить, какие люди живут внутри. Когда с каждым шагом прокручивала в уме их истории с немислимой быстротой, истории, возникшие сами собой, не твои, – об их одиночестве, старости, смерти, поиске счастья, бедности, – шаг за шагом, бульвар за бульваром. Когда читала названия каждой улицы, каждого дома. Какие образы Генуи сохранились в твоей памяти? Усталость не позволила найти Средиземное море, улицы, пропитанные серым, грязным запахом выхлопных газов, надписи на стенах, напоминавшие о Стамбуле, – такая Генуя сейчас живет в тебе. Генуя, улицы которой напоминали район Галатского моста темными дождливыми утрами, где южный ветер дует зимой, осенью или весной, а тебе хотелось дуть вместе с ним; Генуя, которая напоминает улицы, ведущие к школе с темными коридорами.

Каким ты вспоминаешь этот город теперь? Город, где ты искала хороший отель, но не нашла. Отели снаружи величественные, а внутри – запах старости и заброшенности. Затем из холла, где царит полумрак и запустение на фоне летнего

---

<sup>3</sup> Все курсивные выделения в тексте являются цитатами из ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ. – Примеч. автора.

дня, появляется пожилой хозяин. От старика пахнет духами. Снаружи жара. Холлы отелей пахнут плесенью. Сыростью. Чем дальше заходишь в отель, тем сильнее этот запах сырости. Старик просит паспорт. Записывает имя на бумажке. Заставляет подписать. Теперь ты не уйдешь. Как не нашла моря, так же не найдешь в этом городе хорошего отеля. Хозяин проводит тебя по лестнице. Возможно, посадит в лифт. Оставит в маленькой комнатке под лестницей наедине с собой. В таком отеле ты спала. Слушая шаги, кашель и, возможно, бормотание каких-то людей, лиц которых никогда не видела. В комнате, где ты искала сон, во влажном запустении этого средиземноморского города, в городе, где ты не нашла моря.

Ты была одинокой, одинокой, как океан. Перед тем как вернуться в отель, ты пошла в кафе на перекрестке. Помнишь, что пила? Пиво. Кампари. На улице, освещенной фонарями, напротив остановился автобус, из которого вышла футбольная команда. Ты смотрела на них. Затем зашла в заведение, где молодые рабочие и подмастерья проводили субботние вечера. Кто-то, возможно, играл в настольный футбол. Ты читала надписи на стенах города на незнакомом языке, но понимала их. Большие надписи на старых, грязных стенах. Утром в воскресенье ты проснулась. Жара еще не проникла в комнату. Возможно, солнце и летний зной не проникали сюда годами. Затем ты зашла в какое-то кафе, потом пошла на вокзал неподалеку. Один из таких вокзалов,

какие ты любишь. В одиночестве воскресного утра с чемоданом в руках ты нашла платформу. К тебе подошел итальянец с тележкой, торговец куклами. Сказал, что всю жизнь мечтал о такой женщине, как ты. Остайся со мной, сказал. На вокзале Генуи.

Почему много лет спустя, в Берлине, в этот прекраснейший весенний день, я впервые вспоминаю этого торговца? Мне не хватает ночей. Не хватает дней. Быть человеком не хватает. Слов, языков не хватает. На минуту выхожу на балкон. Вижу, как солнце пытается скрыться за берлинскими зданиями. Люди паркуют автомобили. Новые, цветные автомобили. Паркуют или уезжают с парковок. С возрастом пропасть между мной и людьми растет. Пропасть между мной и людьми в машинах, самолетах, учреждениях, автобусах, магазинах, на улицах. С вещами то же самое. Бывают дни, когда я не могу взять в руки кусок мяса. Или курицу – она напоминает мне чье-то тело. Я могу их пожарить, но не есть.

Возвращаюсь к путешествиям. К образам городов, которые я храню.

Опять и опять.

Вчера, в первое воскресенье апреля, проведенное в Берлине, я решила, что отныне буду считать боль счастьем. Разве я не испытывала боль в самые счастливые моменты моей жизни? За пределами боли была надежда – ожидание моего мира. Моего мира. Ожидание утреннего чая, который я пью у себя в комнате. Такой чай наливали из жестяных чайников

в столовых психбольниц, а мне всегда хотелось выпить его у себя в палате. Никто не ушел к смерти так красиво, как ты, никто не ушел так ярко.

Вчера я долго сидела на балконе. Балкон дома на улице Шторквинкель напоминает клетку, заложенную кирпичом наполовину. Клетку, открытую небу. Видны вершины деревьев. Деревьев, которые в эти дни медленно пытаются избавиться от наготы. Время от времени я чувствую себя сильнее всего человечества, но в то же время отверженной, как эти деревья, прикрывающие наготу. Особенно в моменты, когда «я» покидает меня. Или когда они сливаются. И внезапно меня настигает новое чувство, которого я никогда не знала:

Вкус отверженности.

Такое чувство я никогда не испытывала прежде. Оно не сочеталось ни с моим характером, ни с моим окружением. Но сидя на этом балконе, напоминающем открытую небу клетку, глядя на вершины деревьев на улице Шторквинкель, которые пытаются укрыть свою наготу, чувствуя на своей коже ветер отверженности на берлинских улицах воскресного дня, я внезапно обретаю новое чувство.

Я встаю. Смотрю на другие дома, другие балконы; все балконы замурованы так, чтобы люди не видели друг друга. Снова сажусь в белое кресло, впитывая это новое чувство. Длинная ночь. Позади – длинный день. После двух часов сна я еду на площадь Люфтбо́рюке. Тем же самым автобусом и вернусь.

Время ожидания автобуса я провожу вместе с кондуктором на пустой, безжизненной зеленой площади. Ранним утром еще прохладно. Кондуктор автобуса напоминает немецкого крестьянина. Но в ухе у него сверкает сережка, так что он следует мужской моде. Названия остановок он произносит очень сексуальным голосом. Симпатичный молодой человек. Когда мы доезжаем до Халензее, я перехожу дорогу перед автобусом, и мы с кондуктором прощаемся так, будто давно знакомы. В последующие часы, когда автобус катится по берлинским бульварам, я решаю, что отныне буду считать боль счастьем.

«Нужно не описывать мир, а жить в нем, пропитанном чувствами...»

Каждый раз любовь, ее начало и развитие, неизбежно несет в себе пустоту и одиночество, которые приходят с ее завершением. Подобно жизни, которую мы пытаемся определить среди бесконечности неопределенностей. Жажда любви так же велика, как и стремление доказать себе собственное существование. Быть может, те, кому не нужно доказывать себе это, проживают чувства не так глубоко, не превращая их в боль. Или же они просто принимают любовь как любовь, совместное бытие как совместное бытие, разлуку как разлуку, жизнь как жизнь, а смерть как смерть. Но жизнь определена смертью, а смерть – жизнью. А ты... Для тебя каждый момент близости – это разлука, каждая разлука – близость, любовь – ее отсутствие, ощущение – начало бес-

чувствия. Быть рядом с чьей-то кожей – значит ли забыть о своем существовании? Или, напротив, глубже его ощутить? Мое собственное бытие... Разве существование не несет в себе смерть?

В самой середине жизни я предельно ясно осознаю, что все мои желания остаются ненасыщенными. Но бесконечный поиск уже позади. Желаемые переживания были найдены. Прожиты. Некоторые из них погребены. Стали землей. Люди, чью живость я ощущала, с кем делила эту живость, ушли. Скучать по ним, тосковать о них, любить их. Самое важное в человеческой жизни – тосковать по любимому человеку, желать его близости. Тосковать и желать, даже будучи рядом. Но жизнь, как правило, оставляет человека наедине с собой. Во сне. В поисках сна. Но разве даже в глубинах сна человек не ощущает порой беспомощность своего одиночества? На дорогах. За чтением. Глядя из окна на улицы. Одеваясь. Раздеваясь. Бросая случайный взгляд на людей в каком-нибудь кафе. Ничего не разыскивая. Не замечая людей в кафе, думая о чем-то ином... Пытаясь вновь уловить запах мха, переходя через перекресток, в последний момент осознавая, что живешь в мире машин, что не знаешь никого из сидящих в кафе на большом бульваре, что выбираешь наугад еду в супермаркете или в лавке у продавца, в тот же миг размышляя о тоске и одиночестве, о тех, кто ушел, кто пришел, кто разделился, умер, родился, растет, стремится жить или не хочет жить, – разве мы не одиноки всегда, тоскуя, любя, будучи

любимыми, занимаясь любовью?

Способно ли хоть что-то утолить жажду жизни?

Спустя двадцать лет звучат те же песни. Показывают фильм, снятый пятьдесят три года назад. В витринах красуются наряды двадцатых, пятидесятих годов. Толпы слушают новости о голоде, войнах, отсталости и невыносимых катастрофах, словно сказки. Вот такая жизнь проходит перед нами, уходя вдаль. Ты отступаешь за свои стены. Он отступает за свои. В другом городе. В другой стране. Каждый в своем городе. Каждый говорит на своем языке. Или не пытается понять. Нет двух людей, которые говорили бы на одном языке. Ты веришь, что каждое слово человек произносит для себя. Каждое сказанное слово – это, в сущности, самоутверждение. Даже если кто-то хочет объяснить что-то другому, он всё равно доказывает свою правду, свое знание, свою верную интерпретацию. Каждая рука, скользкая по чужому телу, словно ласкает свое собственное.

Иногда ты осознаёшь, что из этой жизни, которую, как тебе казалось, ты покинешь насыщенным, ты уйдешь вовсе не с чувством удовлетворения. Слово ничего и не было прожито. Возможно ли насытиться?

Кажется, ни одно явление жизни, ни одно чувство не было по-настоящему постигнуто, прожито, схвачено с той силой, что рождается в эмоциях.

Почему сегодня, как и каждый день, ты вновь понимаешь, что вся жизнь проходит мимо, и не остается ничего, кро-

ме ожидания смерти? Жизнь вне времени. У жизни нет времени. Детство, зрелость женщины, зрелость мужчины, старость, жизнь, смерть, любовь, нелюбовь, насыщение, ненасытность – всё переплетено. Разум, безумие, бытие, пустота – всё сплетено воедино. Словно белые ночи Северной Европы. Словно за немеркнущим небом тут же следует рассвет.

Когда пишешь, не собираешься рассказывать истории. Мир полон историй. Каждый день каждого человека полон ими. Я не хочу описывать мир. Даже пустая стена из серого бетона или каменной кладки полна описаний. Достаточно малейшего движения человеческого разума, чтобы увидеть на этой стене всё: сады с деревьями, где играют дети, их ожидания жизни, нетерпение больных, тепло летнего солнца, неутолимую целостность неба, формы облаков. Закрываешь глаза – и видишь. Открываешь – и описания множатся, теряясь в безвременье прошлого, настоящего и будущего.

Как долго ты сможешь нести на себе груз такого человека? Ненасытного. Он утомляет тебя. Вы утомляете друг друга. Я водила такого человека по всем городам. Забрала ее с берегов маленького синего озера Гельджюка, что у гор Боздаглар<sup>4</sup>, от раздраженной старухи, что хотела потерять себя в этих горах, и привела в самые глубокие ночи, в самые далекие города, к самой юной человеческой любви, к самым

---

<sup>4</sup> Озеро Гельджюк, горы Боздаглар – озеро Гельджюк расположено неподалеку от Измира; Боздаглар, горный хребет в Малой Азии, расположенный недалеко от городов Айдын, Маниса и Измир.

ранним утрам. И всё равно этот человек не насытился.

«Глубина моей боли не оставляет мне ничего. Даже гордости за осознание своего одиночества».

Тогда я была молода. Верила в такое явление, как молодость. Была счастлива и несчастна одновременно. Я водила ее с собой по всем городам, где шла по улицам, площадям, кафе, домам, лестницам, теням, под дождем и ветром, под ярким солнечным светом или холодным солнцем. Я водила ее и наблюдала за ней. Усаживала ее за столики в кафе. Останавливалась на перекрестках улиц, заставляя вглядываться в лица зданий. Долго-долго вглядываться. Я исследовала ради нее множество площадей, бульваров, переулков, людей, ветров, ночей, утр; формы облаков осенью, лучи света, пробивающиеся сквозь эти облака; холмы, вокзалы, морские берега, самую разную любовь. С неуголимой тревогой я исследовала ради нее весь этот мир. Я мучила ее. Лишала сна. Или погружала в долгие сны, полные боли. Заставляла касаться тел, которые она не любила. Гнала ее за переживаниями, хотя знала, что эти переживания не могут сравниться с силой внутреннего трепета, который я ощущала. Ведь на тех улицах, площадях, вокзалах, в портах и аэропортах, на берегах, в днях, что растворяются в ночи, нет жизни, способной ответить на этот внутренний трепет. И нет возможности выразить это чувство. Ничего из того, что встречается мне, недостаточно. Того, что я вдыхаю, недостаточно. Волн, комнат, пространств, любви – всего недостаточно. Вкуса воды недо-

статочно. Долготы дней недостаточно. Дней недели недостаточно. Я заставила ее полюбить множество тел. Заставила ее следить за пожилой женщиной на станции метро. Она шептала себе под нос: «Даже эти темные станции метро, стоящие веками, полны неутоленной жажды и тоски».

Я наблюдала за ней. В детстве – в яблоневых садах. На головокружительных каруселях. За обеденным столом довольно состоятельной семьи. В ее противоречиях. В ее борьбе за жизнь. В бессонных ночах. В глубинах сна. Я наблюдала за женщиной, всегда живой, всегда стремящейся к чему-то осязаемому, конкретному. За женщиной, способной быть женщиной не с кем-то, но самой по себе.

В продолжении берлинского весеннего вечера, там, где небо сливается с городом, за тремя трубами, виднеющимися вдали, – теплая луна.

Между трубами и окном, у которого я стою, – крыши домов, серые или желтые стены верхних этажей, деревья, высокие деревья, что возвышаются над крышами, и непрерывный, никогда не стихающий шум потока машин с невидимых улиц. Вот он, этот мир. Не нужно думать о чем-то еще. Город не дает думать о чем-то еще. И я отпускаю его. И тут же вспоминаю название книги: «Ночь нежна». Просторные комнаты этого дома. Какие стены, каких домов они напоминают? Ночь в Берлине не состоит из этих плоских стен. Стен азиатских домов, оштукатуренных поверх дерева. Стен, напоминающих о скучных городах, о застывшем времени, о дет-

ских страхах. Стен музеев и галерей больших европейских городов. Мертвых стен. Стен, что стесняют дыхание. Неужели стены – это могилы нашей жизни? Разве каждая личность, появляющаяся на городских улицах, не представляет лишь искусственную маску? Разве не за стенами мы в наибольшей степени являемся собой? Разве не между стенами мы сильнее всего сопротивляемся, сильнее всего чувствуем? Разве не за стенами, вдыхая и задыхаясь от этой ненасытной жизни, мы уйдем? И я напоминаю ей о стихотворении:

«Не уходи покорно в эту благую ночь».

Ни один город не заставляет думать о смерти так, как Берлин, и ни один город не заставляет так размышлять о жизни. Во всех его стенах тесно. Все стены замкнуты. Каждая стена давит на человека. Я иду по всем уголкам этого города, несу с собой свои прежние стены. Стены родительского дома, такие узкие. Стены брака, удушающие. Стены офисов, пропитанные запахом сигарет. Жестокие стены школ. Стены домов и тюрем, перед которыми людей вешали и расстреливали. Стены больниц. Стены сумасшедших домов, стены бедных жилищ, стены приютов для стариков, стены хижин, стены ночлежек, стены городов, стены систем. Мраморные стены.

В берлинской ночи я сижу и заставляю Дон Жуана кричать в небо. В июньские сумерки. Я кричу вместе с ним, извергая всё, что во мне есть. И замолкаю.

Может ли одно небо вместить все страны мира? Все века,

всю свободу, все войны, все наказания, все несправедливости, все яства, весь голод, всю бедность и боль, которые всё ещё существуют в сегодняшнем мире, – может ли одно небо укрыть их всех?

Ночь скоро опустится на новые и старые здания Берлина. Этой ночью, быть может, некоторые старушки встретят смерть в одиночестве своих домов. Другие завтра будут сидеть в парке, под тенью дерева, в одиночестве поедая мороженое. Они будут смотреть на непостижимый для них мир из глубин своего одиночества или из боли своего помешательства. Эту ночь хочется обнять. В мягкий июньский вечер она приближается к крышам Берлина. К этому удивительному городу. Наполовину Восток, наполовину Запад, а между ними – Турция.

«Всё едино.  
Время ушло.  
Однажды ты придешь,  
однажды умрешь.  
Кто-то умер  
давным-давно».

Где-то светит солнце. Единственное знакомое нам солнце. Но мы не думаем о нем. Лишь ощущаем тепло раннего лета. Мягкое тепло. И с ним – нашу боль. Мы сидим на деревянной скамье у кольцевой дороги. Машины мчатся с поразительной скоростью. Наше совместное сидение делает боль терпимой. Моя боль никогда не сравнится с ее болью. Поток

машин нас вовсе не тревожит.

В полуметре от нас – повседневная жизнь, с которой у нас нет никакой связи. Шумная, бессмысленная суэта, пропитанная запахом выхлопных газов. На шоссе Хафель, у кольцевой дороги, мы просто сидим на деревянной скамье. Мы в любом городе. В любом мгновении бытия. Знакомое солнце греет нас. Забыв о прошлом, не думая о будущем, мы находимся в этом моменте. В спокойной тишине. Наперекор воскресному шуму транспорта. Он до нас не долетает. Тени деревьев, раскинувшиеся на другой стороне дороги, принадлежат какому-то иному миру. Люди, участвующие в велосипедной гонке, – из какого мира они приходят и уходят?

Два дня назад, под дождем, на том же шоссе мы нашли таверну «Старая любовь». Словно корабль. Она могла бы стоять на берегу Босфора. Ветхая, пропитанная запахом долгих лет. За стойкой – крупная, очень полная женщина с белоснежной кожей. Официант – должно быть, ее сын. Глазами весь в мать.

– Сколько лет этой таверне? – спрашиваю сразу.

– Двадцать пять, – отвечает она.

Сомнений нет. Значит, это ее любимая таверна в Берлине. Она могла бы быть в рабочем районе любого города. Значит, вот она. Сюда она любила приходить, приезжая в этот город. Теперь она не сможет здесь посидеть. Две недели назад она умерла.

Она больше не посмотрит из «Старой любви» на серые

воды канала Хавель. Она была человеком без возраста. Как смерть. Не взглянет на противоположный берег Хафеля и не вспомнит о станции Зоо, которую ей однажды пришлось покинуть, уходя из этого города.

Вот он, Берлин. Раскинулся во всю ширь. Город, окруженный стенами. Город, окруженный чужими друг другу людьми. Одинокий, как ни один другой город мира.

Никто не думает о том, что в жизнях всех людей есть что-то общее. Тоска. Боль. Других слов я не использую.

Слишком громкие слова. Они вызывают слишком яркие образы. Я возвращаюсь к деревянной скамье у кольцевой дороги.

К мягкому теплу солнца.

Я хочу пойти с ней в «Старую любовь». Мы ждем автобус. Но на самом деле ничего не ждем. Думаем о ее смерти, говорим о ее смерти. Мы сняли наши жакеты. Жара не беспокоит нас. Мы не замечаем ее. Мы в такой отрезке времени. В моменте, который находит и запечатлевает нас, словно на картине.

Мимо проходит множество автобусов. В них – турчанки с покрытыми головами, с открытыми лицами.

Я хочу пойти с ней в «Старую любовь». Словно там мы найдем любовь. Ту, что умерла в скандинавском городе, где солнце не греет. В северном городе, где люди не смотрят друг другу в лица. В сумерках вечера, среди черных теней зданий, под самым прекрасным багрянцем неба я встретила этот се-

верный город. Здесь я вижу ее – на станции Зоо, когда она покидает город, чтобы укрыться в Лондоне. И здесь я вижу ее – сидящую у окна «Старой любви». Вижу, как она курит трубку. Смотрит на мир через очки. И думает обо всём сразу.

Завтра последний день июня. Снова пойдет дождь. До часа ночи осталось семь минут. Окно открыто. На стене висит ее фотография. На фоне портретов Кафки и Брехта. На боковой стене – киноафиша. Черно-белая. На ней железнодорожные пути. Эту афишу повесила не я. Она висела здесь, когда я приехала. Я люблю железнодорожные пути. Они напоминают мне о свободе, о возможности уехать, не быть обязанной оставаться, подчиняться. Для меня рельсы – это своего рода независимость.

На боковой стене висят цитаты, крупными буквами выписанные из книг Павезе. Его самоубийство – здесь же.

В моей комнате.

Коэн поет свои песни. На полу картина, прислоненная к стене. Фотография моего Средиземноморья, где тень и солнце делят пространство. Затем три фотографии Рульфо. Рядом с кроватью – снова она. На одной из фотографий ее едва узнать. Ей сорок восемь, но она выглядит совсем юной. Без возраста. Другие фотографии отражают напряжение ее лица перед смертью. Дальше книга Фриды Кало.

Две бутылки. Одна – с минеральной водой. О другой не скажу.

Мы сидим у шоссе Хафель. Ничего нет, кроме нашей

дружбы, которую мы осознаём. Я хочу отвезти ее в «Старую любовь». Но автобус не приходит. Как будто это место способно смягчить ее великую боль. Или там ее боль сольется с окружением.

Ночи и города уходят. В моей комнате звучит «Лунная соната». Через два дня она уедет в Юго-Восточную Азию. Увезет с собой свою боль. В безликом номере современного отеля с кондиционером она снова найдет свою боль. Выйдя из душа, в зеркале она увидит кошачьи глаза. Ляжет в постель. Будет тосковать по ней. По той, что лежит под землей в Южной Германии. Затем она отдастся во власть тепла отельной террасы.

Теперь здесь звучит «Лунная соната». А мы всё еще сидим у шоссе Хафель. Солнце согревает нашу дружбу. Больше у нас ничего нет.

Автобус на Кантштрассе переполнен. Полон воскресных людей. Веселых и усталых. Мы стоим.

– За две недели она постарела на пятьдесят лет. Вошла в больницу в тридцать восемь, а через две недели умерла в восемьдесят восемь. Ее глаза так глубоко запали, затылок словно растаял...

Автобус переполнен. Тот, который должен был отвезти нас в «Старую любовь», приехал, но не остановился.

Мы идем по асфальту в сторону города. Деревья остались там, где мы искали «Старую любовь». Вместе со своими тенями.

Теперь звучит «Лунная соната». Я попробую дождаться сна. Может, выйду на улицу. Может быть. Каков Берлин в два часа ночи? Его стены, должно быть, охраняются часовыми. А рядом с ними, в темных домах, спят турки. «Старая любовь» на канале Хафель. Ее полная хозяйка спит, убаюканная легким плеском волн. А ее сын, может, ласкает какую-то женщину.

«Те, кто рожден для создания историй и стихов, не могут удовлетвориться одной лишь любовью, ибо у любви нет той интеллектуальной ткани, что способна соткать художественное произведение».

Каждое мгновение мертво.

Теперь ты тоже – лишь воспоминание. Ты тоже мертва. Мне нужно вернуться к словам, которые всегда были со мной, которые я носила в себе, которыми жила. Без моих слов как бы я выдержала это небо? Эти улицы, эту ночь, эти ночи, когда я, раздраженная, лежала между сном и явью, не в силах уснуть, думала обо всём и, поднявшись, не могла облечь мысли в слова. Или ночи, когда в мертвенной глубине сна я ощущала ничтожность нашего бытия. Эта жизнь наполняет меня лишь тогда, когда я могу преобразить в слова ветры, что бушуют во мне, любовь, что живет во мне, смерть, что умирает во мне, жизнь, что рвется из меня наружу. И лишь когда слова способны приблизиться к этим ветрам, этой смерти, этой любви.

Больше никогда.

Теперь ты – воспоминание. Твоя плоть где-то продолжит свою жизнь. Я не могу связать свою жизнь ни с одной любовью. Любовь не внушает доверия. Это состояние, найденное и сформированное мыслями. Она растет и углубляется в той мере, в какой мы ее обдумываем. Чем больше мы о ней думаем, тем она больше, тем глубже, тем невыносимее ее размеры, тем дальше мы ее удаляем. Она неосуществима. Она становится абстрактной. И никогда не кончается. Как жизнь. Как смерть.

«Человек терпит любовь, пока ее отсутствие не причиняет боль; но истинное одиночество – это невыносимое заточение».

Неужели даже когда тела сливаются, любовь остается неосуществимой? В тот бесконечный миг освобождения – остается ли любовь невоплощенной, а человек одиноким? В миг рождения. В миг смерти.

Любовь можно перенести на желаемое, передать ему. Разным мгновениям, разным людям, разным городам, улицам, холмам. Чем глубже человек способен мыслить, тем глубже его любовь. Тем она более голодная. И тем сильнее его боль. Боль жизни.

Я не тоскую. Ничего не жду. Не чувствую боли. Голода. Усталости. Но, быть может, всё покрывает одна лишь всеобъемлющая боль. Меня. Мою улицу. Мою комнату. Мои картины. Мои воспоминания. Мое детство. Моего ребенка. Мою кровь. Мое «я». Ах, она глубже того «я», в котором я

искала чувства, больше чем всё мое «я». Тогда я встречаюсь с нежной кожей долгих ночей. Ночей, в конце которых нас находят лучи солнца. Или с нежной кожей сбросивших листья деревьев на заднем дворе. Теперь ты хочешь стать мертвым воспоминанием. Ты ищешь другие границы других городов. Хочешь уехать дальше. В город моего прошлого. В город моих трудностей. В первый большой город, увиденный мною в детстве. В город, где я, едва прибыв, принималась тосковать о маленьких провинциальных городках. Тогда мы приехали в дом, похожий на ночлежку, к родственникам отца. Накануне умер ребенок одного из родственников. Его тело, накрытое белой простыней, лежало в одной из темных комнат. Мать плакала в соседней комнате, а мы, дети, играли в прихожей. Мне хотелось держать дверь всё время открытой, чтобы я могла видеть тело. Это желание смешивалось с великим страхом. В тот дождливый день смерть впервые явилась мне в виде детского тела в доме, где я ненадолго остановилась. Тела девятилетнего ребенка. Ты хочешь отправиться в большой город, где мои книги пылились на полках узкого коридора. В город, где в час, когда сгущались сумерки, холмы становились всё отчетливее, где я смотрела на тени деревьев и говорила себе: «Вот здесь ты умрешь. Где бы ты ни была, чтобы умереть, чтобы найти свою смерть, вернись к этим холмам».

В том городе мы постигали мир. Ездили на трамваях. Впервые затерялись в толпе. Затем почувствовали, как от-

личаются люди друг от друга. Мы стали там молодыми. Ходили в кафе, в пивные. Смотрели на художников. По ночам посещали бары, куда они ходили. Теперь некоторые из этих художников мертвы, другие уехали в дальние страны. В том городе мы впервые любили мужские тела – или только пытались полюбить их. Выходили замуж или разводились. Бывали ночи, когда мы могли смеяться над любой глупостью. У кого-то сдавали нервы. Кто-то умер от рака. Там мы были погружены в политику. Жили запрещенными стихами. Горсткой прав человека. Что-то росло внутри нас. Росло. Любовь к людям порой превосходила размеры нашего одиночества, и люди порой загоняли наше одиночество в еще более потаенные, невыносимые глубины. Тогда мы смотрели на море того города. В свете времени, когда пена волн напоминала бесконечность. На поверхности вод, окрашенных северным ветром в сине-зеленый цвет. В том городе никто не был счастлив, но никто не был и несчастен. Потому что никто не верил в счастье. Ты в том городе. Ты оставляешь мне песни зимы и смерти.

«Теперь я вновь обрел ожидания детства, по ту сторону бульваров и домов...»

В продолжении бульваров и домов я нахожу ответы на вопросы моего детства. Ребенок во мне говорит: вот она, жизнь. Здесь. Безграничное бытие. В детских рисунках бытие было ограниченным. Но теперь оно бесконечно. Для того, кто способен поймать бесконечность. Вот она. В виде ря-

дов домов... в виде широкой улицы, дерева без листьев, пожилой женщины, пьяницы. Ты продолжаешь тосковать в тоске своего детства...

В моем детстве не было картины города, разделенного стеной. Не было картины одиноких и пожилых женщин, ждущих смерти в каждом мгновении их оставленности. Это новые картины. Темная забегаловка под большим магазином. Пожилые люди сидят перед шоколадным тортом. Живут утраченными мгновениями в своих утраченных воспоминаниях. На самом деле они не живут. Их жизнь состоит из шоколадного торта и ожидания смерти. На этой земле я хотела бы быть кем и чем угодно, но только не одинокой пожилой женщиной в Берлине. В берлинских ночах. В его старых зданиях. К тому времени я уже должна буду оказаться на кладбище. Только мертвое тело может быть одиноким. Живое – никогда. В детстве я могла постичь бесконечность земли, но не одиночество пожилых женщин.

«Я не знал, что взросление означает старение. Что видеть смерть – это значит вновь увидеть реку Мору...»

«Разве ты не знаешь, зачем пришел в этот мир?

Ты должен рассказывать, должен объяснять,  
должен испытывать голод, жажду...

Конец твой будет ужасен, жалок!

Разве ты этого не знаешь? Это говорит тебе Павезе».

Я ничего не помню. Ни одного великого здания. Ни облика построек. Ни ширины бульваров, ни поразительного ве-

личия сооружений. Ни воздуха, ни странного языка, на котором здесь говорят. Ни одежды людей, ни их личностей, ни их поведения. В этой толпе я узнаю только турок. И постепенно размеры города оживают в моей памяти. Я стараюсь их оживить. Зеленый купол напротив – это церковь? Я даже не хочу узнавать, церковный это купол, библиотечный или театральный. Хочу лишь почувствовать, как город воздействует на меня. Ощутить, что во мне просыпается из-за возвращения сюда спустя двадцать один год. Городской парк оживает перед моими глазами. Теплый летний вечер, когда я сидела там и целовалась с юношей. Тогда в этом городе, в сумерках утра или первых лучах света, я возвращалась домой, проведя всю ночь в поисках переживаний, пытаюсь познать мир. Дом, путь куда шел через проходные дворы. У дворов – большие деревянные ворота, у ворот – большие железные ключи. Пытаюсь познать людей. Пытаюсь познать человеческую любовь, телесную любовь. Нет, нет. Я больше не в пугающем поиске того молодого человека. Я не ищу ни переживаний, ни человеческого тепла. Сегодня я несу и тепло, и любовь только в себе. То есть я безлюбовна. И холодна. Я несу с собой картины городов. Все образы моих путешествий, всей моей жизни, состоящей из путешествий. Или из моего постоянного пребывания в одном месте. Без любви к людям – и к живым, и к мертвым. Все мои переживания слились в общую любовь к человечеству. И я стою среди них одна. Охваченная одним общим чувством. Вот и всё. Аб-

страктной, всеобщей, эмоциональной любовью, словно летними облаками. Она может внезапно пролиться ливнем. Или исчезнуть с легким дуновением ветра. Ливень – это я. Ветер – тоже я. А когда выйдет солнце и небо станет безоблачным, тогда я понесу чувства, связанные с городами, железнодорожными путями, грунтовыми дорогами, степями, морями, ночами, утрами, человеческими телами, моим одиночеством, – чувства, которые не приносят ни боли, ни счастья. Я буду существовать пустой. В пустоте своей полноты. Буду пуста. И одна. И независима. Как одинокое дерево в степи. Старое и большое. И одинокое. В той долине. На склоне. Я восхищаюсь своей свободой. Единственное, что осталось от бесчисленных образов, бесчисленных бессонных ночей, бесчисленных солнечных лучей, бесчисленных поездов на поездах, автобусах, самолетах, кораблях, бесчисленных прогулок. От бесчисленных тел, книг, стен галерей, коридоров музеев, залов с бесчисленными картинами, бесчисленных воспоминаний, часов, дней, недель, месяцев, десятилетий, взглядов на водную гладь Босфора. От разговоров с бесчисленными людьми, знакомыми и незнакомыми. От бесчисленных влюбленностей, которые заканчивались в тот же миг, как начинались. От любви к себе через тела других. От стран, систем, бюрократии, демократии, всех войн мира, всех правительств, всей полиции и всех футбольных команд – осталась лишь пустота моей полноты. Моя независимость. Моя свобода. Твердая и одинокая, как дерево на равнине

земного шара. Я не хочу возвращаться назад ни на год. Ни на мгновение. Как я могу вновь пересечь непроходимые границы в этой достигнутой мной бесконечности? Я больше не могу бороться за права человека нигде в мире. Ни в одной стране. Говоря «страна», я имею в виду и мою родину, и эту проклятую землю, на которой мы существуем.

Теперь я в этом городе.

Сажу в кафе на углу, где сходятся два бульвара. Кажется, я вспоминаю зеленый купол на другой стороне дороги. Но не хочу знать, что это. Справа три, слева два больших здания возвышаются. Закажу еще рома. Часы напротив показывают 13:31. Под ними две стрелки указывают направления: Прессбург<sup>5</sup>, Будапешт и аэропорт. На стене сзади написано, что это третье здание Бургтеатра. В глубине площади, удаляющейся от меня, стоят две статуи. Одна – всадник. Какой это император или герой, знать не хочу. За ней еще один памятник победы. Из металла, с флагом, который некто стремится поднять повыше. Дальше, где взгляд упирается в крыши, возвышается современная башня. Может, телевизионная. С рестораном или без.

Двадцать шесть часов назад я сидела у могилы Кафки. У пустой, тихой, зеленой еврейской усыпальницы под деревом. Прямо у его могилы.

Мимо меня идет однорукий человек. Тут же всплывает образ, картина двадцатилетней давности. Увечные люди то-

---

<sup>5</sup> Прессбург – современная Братислава.

го города. Без одной ноги. Без руки. Без кисти. Некоторые, наверное, умерли. Выжившие после войны. Но кто-то жив, и один из них переходит улицу. Живые образы войны.

Я больше никуда не уеду. Не хочу отвечать на вопрос, откуда я. Я – ниоткуда. Сама из себя.

В субботу мы сидим на стульях, выставленных на тротуар у итальянского ресторана на улице Кармер. На улице душно. Облачно. Скоро пойдет дождь. В момент, когда я погружаю все ощущения в глубину сна, я просыпаюсь. Всё становится ясно. До утра не уснешь. Ты не из тех, кто живет своей работой, поездками, людьми, с которыми обедаешь, кафе, куда ходишь, друзьями, которых ищешь, или какой-то суетой. Напротив, в каждом своем действии ты проживаешь себя, и поэтому не можешь решиться на путешествие. Ведь куда бы ты ни пошел, ты всегда остаешься собой. Через два часа ты – в большом самолете, летящем в Гамбург. Самолет продолжит путь в Лондон и Сан-Франциско. Такая сильная буря, что тебя швыряет из стороны в сторону в пустоте. Ты отправляешь ребенка в Стокгольм на рейсе Lufthansa. Ребенок своей четкостью реалиста очень привязан к жизни. Это ранит твое сердце. Ты не хочешь думать о той северной стране. Ни о тоске по близким, которые там остались. Для чувств нет места. Нет времени. Как прекрасен факт, что есть люди, которые вместо размышлений о жизни и смерти занимаются более серьезными, реалистичными вещами.

«— Для таких, как вы, нигде нет места. Вы заставляете

меня страдать. У вас в голове бушуют бури, глаза пылают красным.

Стефано улыбнулся.

– Мы пришли в этот мир, чтобы причинять себе боль, – сказал он».

Ты садишься в автобус. Он едет в город. Кроме тебя, в салоне один американец. Водитель тоже иностранец. В большом автобусе вы – трое чужаков. Воскресенье в Гамбурге безжизненно. Живо только дуновение ветра. Водитель включает кассету. Музыка, пробуждающая чувства. Может, тоску. Больше ничего. Но она и боль подстегивает.

Так ты проживаешь 4 июля. Берешь билет на поезд и начинаешь бродить перед вокзалом, рядом или позади него. Думаешь о большом порте города, который ты посещал месяцы назад, о лифтах, спускающихся под реку, о барах, улицах красных фонарей, молодых и старых проститутках. Ты выходишь на пешеходную зону. Масштабы большого порта города в тот прохладный летний день. Но и сегодня – прохладный летний день. Напоминающий осень. Вдоль улиц тянутся здания, магазины, большие торговые центры и редкие рестораны... Магазины полны товаров, что продаются в каждом большом городе и маленьком городишке страны. Магазины закрыты. На площади установлены прилавки. Они завалены товарами третьего мира, как на любой пешеходной улице или рыночной площади.

Ветер прохладный.

Кто-то жарит сосиски.

Отцы занимаются детьми.

За пределами пешеходной зоны улицы пусты.

Рестораны тоже.

Как я и сказала. Жив только ветер. И воскресенье.

Такое же мертвое, как в маленьком буржуазном районе моего города тридцать лет назад. Только дома здесь великолепны. Магазины великолепны. Люди хорошо одеты. Но в них нет дыхания. Нет дыхания.

Я сижу в вагоне-ресторане поезда, который идет из Гамбурга на станцию Зоо в Берлине. Напротив меня – мужчина. Скоро мы начинаем говорить. Он адвокат из Берлина, но живет недалеко от Гамбурга. Многие богачи покинули Берлин по политическим причинам. Приезжают по делам, но их дома с садами находятся на Западе, где, по их мнению, безопаснее. Теперь он рассказывает мне о благах католической веры. Я слушаю каждого человека с любовью. Мне интересно, что они думают, как смотрят на жизнь. Но редко я встречаю человека, свободного от средневекового мышления, независимого, в какой бы стране он ни был.

Самые сложные люди на земле – католики. Лучше говорить с камнями. С водой, с облачным небом, с тишиной ночи. Но не с католиком, да еще и с высшим образованием. Адвокат говорит, что голосует за партию Немецкого католического союза. Но Коля<sup>6</sup> он не жалуется. Партии нужен более

---

<sup>6</sup> Гельмут Коль – федеральный канцлер Германии (1982–1998).

сильный лидер, говорит он. У этого адвоката есть два положительных качества: первое – он беспрерывно курит; второе – беспрерывно пьет. Причем курит Camel. Видно, что разбирается в табаке. Еще одно достоинство – его дружба с персоналом восточногерманских поездов на этой линии. Он даже защищает их в мелких вопросах. Конечно, заходит речь и о войне. В этих поездах, курсирующих туда-сюда, война неизбежно обсуждается, и ее последствия ощущаются весьма явно.

Теперь мимо проезжают туристы в конной повозке. Хотят прочувствовать Вену XVII века. Среди такого количества машин и удушающих выхлопных газов.

Солнце греет. Впервые за четыре недели можно сидеть на открытом воздухе перед кафе.

«Есть жизнь, которую стоит прожить.

Есть велосипеды, на которых стоит ездить.

Есть тротуары, по которым стоит идти, и закаты, которыми стоит наслаждаться».

Ты покидаешь отель. Идут твои ноги. Не ты сама. Ты не в Вене. Ты нигде. Ты не ищешь никакого направления. Позволяешь ногам нести тебя куда-то. Стараешься ничего не ощущать. Вдруг замечаешь, что проходишь мимо турецкого консульства, и всё оживает. Вся твоя жизнь становится ясной. Но ты отгоняешь мысли. В безнаправленности, безродности, бесцельности, бесчувственности и безвременье ассоциации не достигают тебя.

Ты в этом кафе уже больше трех часов и всё это время стараешься не вспоминать события двадцатилетней давности. Все твои усилия направлены на то, чтобы сделать образы последних трех дней четкими, но только в деталях.

Напротив – ресторан McDonald's. Это, должно быть, одно из новых явлений города, как и американские рестораны, захватившие всю Западную Европу.

Я говорю, что разделение Германии и Берлинская стена – результат фашизма Гитлера.

«Хорошо, что Германия разделилась. Иначе промышленность так бы разрослась, что немцы развязали бы третью мировую войну», – говорит он.

«Мы убили шесть миллионов газом. Не должны были. Но сделали это», – говорит он.

И говорит так равнодушно, будто заказывает еще бутылку пива.

В этот момент я боюсь. Боюсь и стыжусь быть человеком. Просыпаюсь среди ночи и вспоминаю его небрежный тон, с которым он это сказал. Оказывается, что я уже настолько проснулась.

Понедельник, 5 июля. Четыре ночи. Точнее, утра. Солнце взошло. Может, каждое утро весь этот месяц, когда я просыпалась позже – под дождем и облачным небом, – в этот час светило немеркнувшее северное солнце. Через четыре часа я на улице. Серые здания снова покрыты дождевыми облаками. Время от времени начинается ливень. Я то промо-

каю, то высыхаю. Город пуст. На улицах почти никого, кроме пожилых женщин, ждущих своих последних путешествий. Некоторые ровно в 9:30 выходят из автобусов номер девятнадцать или двадцать девять и идут в самый большой магазин Запада. Там они погружаются в кружева, ткани для свадебных платьев, летнюю моду, сумки, часы, в товары, о которых можно и нельзя думать. Чтобы убить еще один день.

Улицы этого города длинны. Некоторые не пройти пешком. Они тянутся километрами, а затем выходят на большую или малую площадь, от которой отходят другие улицы. Дойдя до площади, ты уже не знаешь, какая из них – продолжение той, по которой ты шел. Шторквинкель – маленькая улочка с деревьями по обе стороны между тремя большими, оживленными магистралями. На ней всего несколько домов. С одной стороны – старые, с другой – новые. Впереди идет человек. Ты смотришь на его шаги и придумываешь ассоциации. В этом городе никто так нерешительно не ходит, думаешь ты. Открывая большую тяжелую старую дверь, ты видишь, что он стоит у той же двери, тоже в нерешительности.

– Мы не встречались? – говорит он.

– Нет, – отвечаешь ты.

– На втором этаже живет мой друг, – говорит он.

Ты очень быстро вспоминаешь, что там живет одинокая девушка. В день, когда рано стемнело, ты видела у дома машину скорой помощи, полицию, входящую в здание, а затем кого-то на носилках с закрытым лицом. От консержки ты

узнала, что это была попытка самоубийства, после которой ее увезли в больницу.

– Эта девушка там?

– Она сбежала из больницы ко мне. И больше не хочет уходить.

Мы поднимаемся по лестнице вместе. Ему так нужно с кем-то поговорить. Он ищет человека. Хочет разделить с кем-то свое безутешное состояние.

Мы сидим в просторном светлом пустом зале, из которого открывается обзор на небо и верхушки деревьев. Несмотря на всю свою стремительность, в городе есть болезненная неподвижность.

– Вчера ночью я привел ее сюда. Она не спит сутками. Пьет пиво. Курит. Пьет пиво, не спит и ждет смерти. Хочешь ее увидеть?

Ты знаешь, что ничего не можешь сделать. Но всё же спускаешься на нижний этаж. Здесь комнаты сдаются по одной. В каждой – раковина. Каждому – большая комната. Жильцы других комнат даже не стучатся в ее дверь.

Она сидит на кровати. В руке жестяная банка пива. Курит. На полках несколько увядающих растений, несколько старых книг. Книги Германа Гессе привлекают твое внимание. Пол усеян бесчисленными пивными банками.

Она так худа, что кожа на ногах обвисла. Ее глаза угасли в пучине тяжелого страха, безнадежности, подлинного нежелания жить. Время от времени она кричит. Ей чуть за тридцать.

цать, но она несет в себе изможденность семидесятилетнего или смертельно больного человека. Мы поднимаемся наверх.

– Она была моей возлюбленной, – говорит ее друг. – Но она отказалась от всего.

– Вместо алкоголя ей нужны хорошие снотворные, чтобы пока поспать, – отвечаю я, но не могу даже представить, чем это закончится.

Я звоню в скорую. Говорит ее друг. Разговор длится так долго... Словно они с диспетчером забыли о пациентке и просто изливают друг другу душу. Причем он говорит не с врачом и не с психологом. Может, с женщиной, что отвечает на звонки и сама хочет избавиться от своего одиночества. Через час, когда он кладет трубку, я спрашиваю:

– Что говорят?

– Может, лучше оставить умирать в своем углу тех, кто не хочет по своей воле лечиться в психиатрической больнице... – передает он.

Вдруг ты вспоминаешь о безумии. Теплый весенний день на берегу Средиземного моря, ты стоишь у огорода, глядя на девушку, что тянет ведро с водой из колодца.

По радио называют имена разыскиваемых. Ты часто ощущаешь невыносимость прыжка в бесконечность. Думаешь о длинном трудном пути между безумием и независимостью. О том, сколько силы нужно. О времени и перенесенных страданиях.

Ты отправляешь ее к другу и возвращаешься к красоте своей независимости.

За соседним столом сидит мальчик с матерью и отцом. Он так внимательно смотрит на меня, будто я совершаю преступление, сидя в кафе и постоянно что-то записывая. Теперь я на Кёртнер Ринг в Вене.

Иду покупать билет на станцию Зоо и снова вижу девушку. Она идет за пивом в большой магазин неподалеку, всего в нескольких метрах. Этот город совершенно не замечает алкоголиков, больных или потерявших себя стариков.

На вокзале я стою в очереди за билетом. Четверо крупных полицейских избивают человека. Самые отверженные люди города обычно собираются на станции Зоо. Лица в шрамах, хронические алкоголики с бутылкой в руке, прислоненные к стенам, иногда проклинаящие всё мировое устройство. Человек, которого бьют полицейские, не так уж грязен. Даже побрит. В руке – наполовину выпитая бутылка виски. Он пытается выйти на платформу, полицейские бьют его и сгоняют вниз. Он вырывается и снова пытается подняться, и его снова бьют и сгоняют. Один из немцев в очереди за билетами кричит:

– Полиция неправильно себя ведет не только с ним, но и со всеми нами!

«Еще один смельчак», – думаю я. Тот, кто способен выкрикнуть свои мысли.

Возвращаясь домой, я вижу девушку в объятиях друга.

– Везу ее в больницу. Пойдем, пожалуйста, пойдем, – просит он.

– Через пару часов я еду в Прагу.

Мне надо идти. Я не могу видеть ни пожилых женщин, ни турецких рабочих, скупающих перед отъездом в отпуск самые ненужные вещи. Оба этих зрелища причиняют мне невыносимую боль и дают ощущение безнадежности.

Теперь я на Восточном вокзале. Мир вот-вот раскроется передо мной.

Мне нужно сделать большее из всего, что предлагает мне мир, – из того, что растет, дышит или умирает, из того, что уже умерло. Из природы, жизни, снов, чувств я должна прожить больше, чем они могут мне дать, ощутить больше, почувствовать глубже. Каждый предмет, каждое существо, каждого встречного человека, каждое мгновенное впечатление я должна превратить в переживание. Жизнь нужно увеличить, развить по-своему, углубить, расширить, дать ей дуть ветрами, литься дождями, пока я не увижу себя лишь точкой – живой или мертвой, рожденной или нерожденной. И этим господством, что я установила над собой, я должна увеличить и смерть. Моя жизнь, моя любовь, моя смерть должны стать всякой жизнью, всякой любовью и всякой смертью.

Ты в вагоне венгерского производства. Поездка из Восточного Берлина в Прагу. Напротив сидит она. Может, того же роста. Худая. Глаза не голубые и не карие. Зеленые. Через

какое-то время она показывает тебе свои акварели. Тихие образы природы, рассказывающие о ее робкой натуре. Вдруг тебе хочется отдать ей всё. Свое детство, свою усталость, бесконечность, которую ты ищешь в этом путешествии. Свою кожу. Себя. Ты знаешь, что такая кожа не вызовет никаких чувств. Но она не напомним тебе других. Не останется просто чужой. Или будет чужой, как все. Но ты хотя бы сбежишь от ночи. От себя, с которой так трудно жить вместе. Ты почувствуешь ее человеческую наготу и чуждость. Достаточно глубокое чувство. А можешь ли ты предложить что-то еще глубже? Когда ты об этом думаешь? Когда она ложится рядом с тобой на узкую кожаную койку в купе, которую и кроватью не назовешь? Когда ты не удивляешься тому, что она легла с тобой? В продолжение ночи? Когда ты думаешь о покинутом мире и жизни, которые ты так и не приняла? Или в усталости, в которую ты погружаешься ночью, не в силах уснуть? Она тоже не спала. Когда она находила силы открыть глаза, ты видела, как она смотрит на тебя или в пустоту, курая в своей постели. Она сказала, что в Праге в пять утра, кроме рабочих, весело идущих на работу, ничего не увидишь. Сказала, что будет гулять с тобой.

Ты смотришь в коридор, на отрезок пути, по которому идет поезд. Здания, дороги уже появляются одно за другим. Утро еще холодное, небо вот-вот начнет светлеть. Но солнце взойдет не скоро, сначала будут облака. Коридор поезда прохладный. Как она сказала, в сумерках утра огромная масса

людей выходит на работу. Я устала. Поезд уже прибывает на вокзал. Она спит. Я пишу несколько слов на пачке сигарет и схожу. Оставляю чемодан на вокзале и на машине погружаюсь в утро города. Еще нет шести утра, а я уже стою напротив дома, где родился Кафка. На боковой стене здания – его тонкое лицо, металлический барельеф. Вдруг моя усталость уходит. Но ты не можешь постичь, как оказалась в этом неожиданном синем утре перед домом Кафки, глядя на это трехэтажное каменное здание. Годы, проведенные в далеких странах, в тихих городах с его рассказами, – более глубокие, более действенные, более направляющие твои мысли, более проникшие в твоё существо процессы. Или каждое мгновение, которое мы проживаем, так отягощено тяжелыми воспоминаниями прошлого? Я в Праге, на улице Майзелова, или в Анкаре, на улице Туна? Или это сон? В каком потоке времени я нахожусь? Путешественница ли я? Путешественница, которая глядит усталыми глазами из машины на дом Кафки. В каком мгновении какого путешествия я нахожусь? Хотя я никогда не путешествую. Разве не в постоянном путешествии я всегда – прежде и теперь? Разве не так я жила? Не так живу? Не так буду жить?

Ты в отеле Ambassador. Старинная мебель, люстры, свисающие с потолка, белоснежные скатерти, пожилые официанты в черном продолжают старую традицию. Смогла ли ты пойти дальше восприятия мира, как герой повести Кафки

«Кочегар»?<sup>7</sup>

Теперь обычная женщина из Анатолии, в одежде, которую носила в поле, переходит Кёртнер Ринг.

Поднявшись на Градчаны<sup>8</sup>, ты видишь солнце, уже взошедшее над городом. Алхимистенгассе<sup>9</sup> состоит из домов, чья высота едва достигает двух метров. В доме номер двадцать два он работал почти год, писал свои рассказы. Сегодня дом закрыт. Завтра тебя здесь не будет.

Через какое-то время ты спускаешься с холмов, проходишь вдоль реки, бродишь по улицам иходишь на старое еврейское кладбище. С первых шагов кажется, что ты попала на маленький, спрятанный в городе погост. Беспорядочно высеченные большие серые, коричневые надгробия поднимаются так тесно и хаотично. В беспорядке, словно брошенные, необработанные, каждое со своим наклоном. Вплотную друг к другу. Кладбище окружено задними фасадами серых зданий. Дома выглядят заброшенными. Некоторые окна разбиты. Но внутри наверняка кто-то живет. Из открытых окон веет темной тишиной домов. Должно быть, здесь всегда так тенисто, думаешь ты. Воздух кладбища более влажный, чем снаружи, чем на мощеных улицах города. Чем дальше ты заходишь на кладбище, тем больше оно раскрывается, расши-

---

<sup>7</sup> «Кочегар» – название первой главы из неоконченного романа Франца Кафки «Америка», которая была опубликована как самостоятельный рассказ.

<sup>8</sup> Градчаны – один из четырех исторических районов Праги.

<sup>9</sup> Алхимистенгассе – переулок Алхимиков в Праге.

рятся, растет и затягивает в свою бесконечность. Если зайти еще глубже, кажется, оно не отпустит. Ты выходишь. У ворот на маленьком деревянном табурете сидит пожилой сторож. Напротив, в маленькой деревянной будке, продаются планы города и брошюры, которые всегда в руках у туристов.

– Где могила Кафки?

– Не здесь, – говорит он. – Самый новый надгробный камень здесь – XVII века.

– Да, – говорю я. – Я видела камни XIV века.

– Садитесь на метро. Езжайте в сторону Страшнице. Там, на еврейском кладбище, лежит Кафка.

Ты проходишь по улицам. Звуки жизни достигают твоих ушей. Ты идешь под арками. Входишь в дверь, откуда доносятся голоса. В темной пивной все без остановки пьют пиво. В рабочих комбинезонах, с большими кружками в руках, люди пьют наперегонки. Я всегда завидовала тем, кто проводит дни напролет за выпивкой и при этом может работать. В определенной степени опьянения легче выносить этот мир.

Ты идешь медленно. У метро понимаешь, что у тебя нет мелочи. Девушка у турникета машет рукой: проходи. Деньги в этом городе ничего не значат. На эскалаторе ты спускаешься в невероятную глубину. На конечной вместе со всеми поднимаешься из глубин к дневному свету. Переходишь дорогу. Ворота кладбища открыты. Прямо напротив входа стрелка указывает направление: «Д-р Франц Кафка».

Путешествие на край моей жизни никогда не казалось мне

дальним. В каждом лице, каждом дыхании, каждом объятии, каждом утре, во всём растущем и стареющем я видела край своей жизни. Даже в детстве, в пшеничных полях, в лунном свете и глубокой тьме детских ночей я видела этот край своей жизни. Но когда я ухожу, когда поезд пронесется сквозь пейзажи: города, деревни, поля, горные хребты, вдоль берега озера, русла реки или серой морской глади, двигаясь вперед, когда незнакомые люди мелькают в противоположном направлении, исчезая, когда каждый образ отдаляется от меня, уходит, только тогда я отдаляюсь от края своей жизни.

Почему эта зеленая, дикая тишина заставляет тебя забыть мир, внутри которого ты вынуждена жить? Потому ли ты спокойна у могилы Кафки, что он пережил самую глубокую боль того же самого мира? Не хочешь никуда уходить. Его отец, а затем мать были похоронены в той же самой могиле. Теперь, в Вене, ты думаешь о его письме отцу. Отец, чье давление не отпускало его всю жизнь, даже в могиле лежит над ним. Как странно, вчера у могилы ты об этом не думала. Напротив, то, что даже в могиле он не один, показалось тебе успокаивающим. Ты думала о сестрах и Милене, убитых в нацистских лагерях. То, что Кафка избежал этих лагерей, наполнило тебя радостью. Его смерть в молодости от туберкулеза была спасением от величайших страданий.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.